



Юрий Батяйкин

**До встречи
не в этом
мире**

Юрий Батяйкин

До встречи не в этом мире

Издательский дом «Сказочная дорога»

2015

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

Батяйкин Ю. М.

До встречи не в этом мире / Ю. М. Батяйкин — Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

ISBN 978-5-4329-0061-6

Юрий Михайлович Батяйкин – поэт, прозаик, член Союза российских писателей, лауреат Пушкинской премии. Автор книг «Праздники одиночеств» (1993), Ingenfors (2012), «Яблоки горят зелёным» (2013). В этой книге перед вами предстает редкая возможность услышать не согласный ни с кем и ни с чем голос Поэта, свободного от всех канонов и рамок, свободного по рождению, по своей упрямой человеческой натуре.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

ISBN 978-5-4329-0061-6

© Батяйкин Ю. М., 2015
© Издательский дом «Сказочная дорога», 2015

Содержание

Часть I	6
«Когда-нибудь не станет Петербурга...»	6
«Есть где-то девушка на свете...»	7
«Живешь на свете сотый век...»	8
«Кружится снег устало...»	9
«Моя мечта идет в подъезд с блатным...»	10
«А за окнами – снег. Не поймешь – хорошо или плохо...»	11
«Кто выбрал поэту...»	12
«Я отправлю стихи в журналчик...»	13
«Кто Музу балует любовью...»	14
«Снова праздничными флагами...»	15
«Друзья, наши встречи...»	16
«Не доверяйте секретов снам...»	17
«Где, как дворец на тракте, страждущим и усталым...»	18
«Когда душа заполнена блевотой...»	19
«О, как прекрасны глаза полуночных вестниц!...»	20
«И снова, Господи, один...»	21
«Благословенно незнание...»	22
«Из теневой стороны угла...»	23
«Здесь, где прячется Сет Аларм...»	24
«На выставки, в кино, на бл. ки...»	25
«Когда дятел стучит...»	26
«Когда менты глядят из всех углов...»	27
«Как на заре тупа...»	28
«Вчера проводил я последнюю птицу...»	29
«В парке, где липы, практикующие дзен...»	30
«Здесь, где гуртом свиной...»	31
«Что стоит листок...»	32
«Я сходил с ума в неприметный час...»	33
«Я ненавижу свой дом за плевков, окурков...»	34
«Четыре, пока не пустых, стены...»	35
«Мой милый друг, мы живем с тобой...»	37
«Опять метро и в толпе черно...»	38
«Над стезей о б ожженной...»	39
«Не печалься за брата...»	40
«Ночью на перекрестке...»	41
«Ну вот, я и перебрался с московской сцены...»	42
«О, море, что наполнено тоской!...»	43
«Веселый луч скользнул по волосам...»	44
«Тигрица с крыльями, любительница сладкой...»	45
«Синица в коричневом платье и фартук...»	47
«По бесконечному коридору...»	48
«Опять природа замирает...»	49
«В вагоне я еще принадлежал...»	50
«Ты не пишешь ко мне: неужто...»	51
«Милая, здравствуй. Мне жаль, мне очень...»	52

«Снова рассвет, как пьезо...»	53
«В невеселый день от Страстной недели...»	54
«Странный сегодня вечер: мертвая тишина...»	55
«Куда ты, Батяйкин, попал?...»	56
«Я, кажется, действительно, сдаю...»	57
«Здесь, где было нам так хорошо, – зима...»	58
«Учитель! Я дорос до Ваших слов...»	59
Ода грусти	60
Часть II	62
«Здесь, где волны, омывающие дурдом...»	62
«Здравствуй, Эвтерпа. Прости, что пишу со скуки...»	63
«Я пнул ногою камень, как итог...»	64
«Мне хотелось жить в доме на острове, чей фасад...»	65
«Замыкается время. Параша снова...»	66
«Забегая назад, вижу осень в ордынском раю...»	67
«Поймаю шарабан – и в тину...»	68
«Послушай меня, мой Боже...»	69
«Здесь, как в пристанище Билли Бонса...»	70
«Все явственней я старею, все меньше мне остается...»	71
Послание Марии	72
«Я, как грустный дом, обречен на слом...»	73
«Я расстаюсь с этим миром. Сто...»	74
«Ах, как снега пушистого нынче много!...»	75
«Никому не хочу я петь...»	76
«С неких пор я все чаще...»	77
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Юрий Михайлович Батяйкин

До встречи не в этом мире. Стихи разных лет

Часть I

«Когда-нибудь не станет Петербурга...»

Когда-нибудь не станет Петербурга.
Тогда же и Поэзии не станет.
Поэзию Серебряного века
и Золотого скоро позабудут.
Забудут все и Бродского, и Рейна,
Охапкина, Кривулина, меня,
чьи выступленья сотрясали стекла,
гуляния по Крюкову каналу,
забудут Дровяной. На Офицерской
дом Блока переделают в отель.
И Новую Голландию застроят
особняками в стиле Лимпопо.
И будут все приезжие взирать
не на ее – ворота в Никуда,
а на Нью Нью-Йорк с общественным Кремлем,
и пряником Блаженного напротив.
Поэзию забудут. Двух Столиц
Поэзии на свете не бывает.
Везде исчезнут улочки такие,
где бы могла поэзия рождаться.
Их и одну найти уже непросто.
И это будет всё.
Конечно, где-нибудь,
когда-нибудь опять родится кто-то:
романтик, бессребреник, поэт.
Но это будет редкое явление,
И, сомневаюсь, – нужное ли здесь.

«Есть где-то девушка на свете...»

Есть где-то девушка на свете.
Она мечтает о поэте.
А также есть поэт в природе,
о ней мечтающий порой.
Жаль, им не встретиться. А надо,
чтобы исчезать в аллеях сада,
идя из дома и домой.
Чтоб отправляться на прогулку
от скуки или просто так:
туда-сюда по переулку,
а может, если есть там – в парк.
А тот, в кого бы ей влюбиться,
тот, что почти в нее влюблен,
кому опять всю ночь не спится,
хотя уже светает. Он,
еще теплом ночным согретый,
пьет горький кофе с сигаретой,
пока ей снится странный сон.

«Живешь на свете сотый век...»

Живешь на свете сотый век,
печальный и больной.
Но взгляд из-под усталых век
упрямый и стальной.

Тебя узнает без труда
любой, кто сам такой.
Тебя встречаю я всегда —
и летом, и зимой.

Ты бродишь, жизнь свою губя,
похожий на Пьеро.
Но кто-то влюбится в тебя
нечаянно, как в метро.

Проводит взглядом до дверей,
и ты навек уйдешь.
Но если будешь посмелей,
то встретишь и найдешь.

Но тот, кто любит, – не любим,
и это знаешь ты,
и бродишь с кем-нибудь другим
опять до темноты.

А те, кого любил всегда
и звал под снежный хруст,
придут в твой старый дом тогда,
когда он будет пуст...

«Кружится снег устало...»

Кружится снег устало
над зданием вокзала,
и я не собираюсь
сегодня уезжать.
Но я иду ко входу,
чтобы свою свободу
хотя бы на минутку
почувствовать опять.

И вот я у порога.
В душе моей тревога,
И, в уголочке сердца
мечты свои храня,
я снова на перроне
стою и беспокоюсь
о том, что этот поезд
уходит без меня.

Куда-то все шагают,
о чем-то все мечтают,
и каждому на свете
дано, как королю.
И пусть кому-то мало,
и пусть кому-то много,
а мне дана дорога —
и я ее люблю.

Иду по светлым залам
вечернего вокзала
и слышу в желтых сводах,
как вздрагивает путь.
Мне хочется с тоскою
махнуть на все рукою,
все бросить и уехать
еще куда-нибудь.

«Моя мечта идет в подъезд с блатным...»

Моя мечта идет в подъезд с блатным
мурлом. Как тоненькие ножки
похожи на пружинки. Братья Grimm
и я глядим в немытые окошки

и медленно проходим. Негатив
готов для интродукции и строчки
на тему, что дворовый коллектив
жизнеспособней волка-одиночки.

Да, к сожалению, Москва – не лес,
А псарня, где под бдительным надзором
скоты жиреют и еб... принцесс,
забросивших в помойки сказки, хором.

Но их тупой не различает взгляд,
как ждет своей минуты непокорно
поэзия, что капает, как яд,
пока не время перерезать горло.

«А за окнами – снег. Не поймешь – хорошо или плохо...»

А за окнами – снег. Не поймешь – хорошо или плохо.
Лишь отрадно смотреть, как заботится бережно Бог о
почерневшей земле. Проникаясь светлеющей дрожью,
как-то легче простить небесам свою
жизнь скоморошью.

К завершению дня, когда сердце обычно болеет,
хорошо представлять, что тебя еще кто-то жалеет,
что за окнами нет ни толпы, ни Кремля, ни Дзержинки,
только сумерки сыплются. Только кружатся снежинки.

Созерцание снега, наверное, связано с детским
восприятием зимы, словно чуда. Да больше и не с кем
проводить вечера. И глядишь, как из детского сада,
из клетушки на сумрачный, сказочный
вихрь снегопада.

Если долго смотреть, можно в сумерках
встретиться взглядом
с ирреальным пейзажем, что вечно присутствует рядом,
открываясь во мгле идиоткам, шутам и поэтам,
наполняя Россию снежинками, небом и светом.

Ибо, ежели что на земле и является Русью, —
это вечное небо, глаза, что измучены грустью,
да рождественский снег, что летит
над ночным озареньем
и ложится на землю сверкающим стихотвореньем.

«Кто выбрал поэту...»

Кто выбрал поэту
терновый венок
и нашу планету,
где он одинок,

где вечно он болен
и в трансе от бед,
и всем недоволен,
и плохо одет,

где ветром продута
его голова,
и где почему-то
он ищет слова,

печалюсь и маясь,
на вид, как чума,
в стихи погружаясь,
как сходят с ума,

где в праздник и в будни,
помимо всего,
бездельником люди
считают его,

где жизнь уплывает,
и где, наконец,
его ожидает
печальный конец.

«Я отправлю стихи в журнальчик...»

Я отправлю стихи в журнальчик,
Получу дорогой ответ:
«Уважаемый Мальчик с пальчик,
с сожалением пишем: нет...»

В ваших строчках одни химеры:
то бессонница, то печаль...
Да к тому же не те размеры
и, неведомо чья, мораль».

И заплачу не от обиды,
что читал их дурак и хам,
чьи глаза, точно злые гниды,
проползли по моим стихам,

не от дуры смешной – природы,
изнасилованной скопцом,
а от глухонемой Свободы
с изуродованным лицом.

«Кто Музу балует любовью...»

Кто Музу балует любовью
в часы полночной тишины,
кому на свете до здоровья,
как на верблюде до луны,

и у кого ни средств, ни платья —
лишь до зари мигает свет,
кому Поэзия – проклятье,
тот, может, истинный Поэт.

И чаще умники читают,
не доверяясь сволочам,
не тех, кого не выдворяют,
а тех, кто пишет по ночам,

не отдаваясь в каждом слове,
не ухмыляясь на бегу,
а оставляя капли крови
на подкрахмаленном снегу.

«Снова праздничными флагами...»

Снова праздничными флагами
изукрашена столица,
И снуют антропофагами
электрические лица.
По Тверской от Маяковского
мерно движется эпоха.
В Институте Склифосовского
нынче будет суматоха.
Такова у нас традиция —
пусть победу йствует природа!
И сторонится милиция
от Великого Народа.
А в Кремле звенят подносами,
стелют мягкие перины,
И с распущенными косами
в залах бродят балерины...

«Друзья, наши встречи...»

Друзья, наши встречи
не помнит трава.
Но в пасмурный вечер
я ваши слова

в коробочке черной
ловлю через страх,
хотя и ученый
на ваших слезах.

За липовой дверью
двойная возня,
но все же я верю,
что к вам от меня

сквозь смрадную крышу
доходит ответ,
хотя я вас слышу,
а вы меня – нет.

«Не доверяйте секретов снам...»

Не доверяйте секретов снам:
что для науки сон...
И, плавая по коротким волнам,
не поднимайте звон.

Не открывайте друзьям своей
тайны, что Вы – поэт.
И даже в дни, когда все о-кей,
на ночь гасите свет.

Не забывайте шагов в траве
для посторонних глаз,
и прячьте записи в голове
в неторопливый час.

Не забывайте, куда ведет
злая дорожка рифм,
чтобы, когда «светлый день» придет,
встретить его живым.

«Где, как дворец на тракте, страждущим и усталым...»

Где, как дворец на тракте, страждущим и усталым
вырос морской поселок, словно в пути мираж,
как по клыкам драконов, скал золотым оскалом
огненной лавиной мчалась заря на пляж.

Медленно застывая камнем на перстне Бога,
преображалось солнце в матовый сердолик,
и представлялась слабым ласковою дорога
в каждый непостижимый, то ли на краткий миг.

В небе ль, раскинув веер, им улыбалась туча,
время ль кадило лето к новому утру дня —
каждый себя бродяга там ощущал везучим,
с нежностью глядя в море, словно в зрачок коня.

А по ночам звенели там голоса в тумане,
в вечности рассыпаясь, словно снежки в снегу,
будто болтали кегли в дремлющем кегельбане,
смутно белея на темном, призрачном берегу.

«Когда душа заполнена блевотой...»

Когда душа заполнена блевотой
и втиснута в московскую шинель,
как голубой треножник с позолотой,
передо мной всплывает Коктебель.

Вновь, словно ветерок меня ласкает,
горячим солнцем волосы пыля,
в краю, где раскаленными сосками
прильнула к небу голая земля.

Где, до краев насытив фосфор линий,
уходит солнце, прячась в валуны,
где в бухте море гусеницей синей
скользит на берег по руке луны.

И, очарован образом минутным,
покуда боль терзает мой висок,
я так слова ловлю в потоке мутном,
как будто мою золотой песок.

«О, как прекрасны глаза полуночных вестниц!...»

Юнна Мориц

О, как прекрасны глаза полуночных вестниц!
А хлеб насущный, конечно, иное дело.
Не возражаешь – проедешь в метро, и месяц
тошнит убудками каждую клетку тела.

Ах, дорогая, любимая Юнна Мориц!
Как жаль, что раю немислимо жить без ада,
и нет на свете профессии «стихотворец»,
а есть и днем одеваться во что-то надо.

Сидишь и нижешь устало слова на строчки.
И на душе опозоренно и отвратно.
Не усидишь в однокомнатной «одиночке»,
а выйдешь в город – брезгливость влечет обратно.

О, моя леди, мой метр, мой кумир, мой ангел!
Зачем Вы мне не сказали, что я бездарен?
Теперь бы я не высасывал кровь из ранки,
а застрелился и жил бы себе, как барин.

Во всем генезис, и у отвращения тоже
свое развитие, как у тритона в луже,
а жить и, как змее, вылезать из кожи,
не получается – видно, она поуже.

Что я пишу здесь – для Вас, вероятно, странно
и раздражает, как некое коромысло,
когда к началу еще возвращаться рано,
а подбираться к концу не имеет смысла.

«И снова, Господи, один...»

И снова, Господи, один
за всех усталых,
всех шизофреников и ин —
теллектуалов,

которым Дьявол запустил
под сердце коготь —
молюсь о том, чтоб ты простил
нам гнев и похоть.

Чтобы, касаясь нас перстом,
не помнил, Боже,
как мы трезвонили о том,
чей грош дороже,

и как мы тратили слова,
как за рулеткой,
и как тянулись к ним сперва,
как за монеткой.

И вот теперь мы, не спеша,
чеканим строчку,
лишь, когда светится душа
сквозь оболочку,

и я покаялся в грехах,
не без сомнений,
надеясь вымолить в стихах
лимит прощений.

Прости нас, Господи, ты ждал
на всех дорогах
всех, чей возвышенный хорал
увяз в пороках,

кто, словно уличный урод
с зеленой рванью,
кому-то дарит кислород,
а дышит дрянью.

«Благословенно незнание...»

Благословенно незнание,
когда не ведаешь зла,
и что такое изгнание
не понял еще, и для
тебя не очень-то острые
камни пока, дружок,
и глупо себя наверстывать,
как февральский снежок.

И, видимо, стоит томика
злоба тупых невежд,
когда стоишь возле холмика
детских своих надежд,
не переживших скупости
солнечного луча,
и пролетарской глупости
вешателей сплеча.

Так что, пока покатится
грустная голова,
пускай печатает матрица
огненные слова,
в которых горят дзержинские,
ленины и т. д.
и прочие рыла свинские,
пропущенные Корде,

поскольку и для пропавшего
девственного листа,
и о любви мечтавшего
мученика-Христа
Горькая моя ненависть
лучше наверняка,
чем прописная стенопись
русского языка.

«Из теневой стороны угла...»

Из теневой стороны угла
глядя тоскливо, как два осла
тщатся друг другу сломать башку
за лучший способ набить кишку,
как невидимка в своем рванье,
словно подкидыш в чужой семье,
я от рожденья ищу секрет,
как всех ублюдков свести на нет.

Впрочем, поскольку всесильный Бог
сам этой тайны узнать не смог,
я рад тому, что хоть есть межа,
и, по своей стороне кружа,
я, как ненужная жизни тварь,
лишь переписываю словарь,
в мудрой компании сонных сов
переставляя порядок слов.

И забавляет меня игра:
как светлячок на конце пера
буквы выводит в кромешной мгле
и отключается, как реле
времени, если идет к утру
в том промежутке, когда Петру
нужно отречься, спасая хвост,
чтобы, как все, подойти под ГОСТ.

Так пролетают за годом год
в смысле забот, где укрыться от
жалкой природы царей, цариц
с кружками Эсмарха вместо лиц —
так от ночей почернев, как блэк,
с Музой вдвоем коротая век,
преображаясь умом в Фому,
я начинаю любить тюрьму.

«Здесь, где прячется Сет Аларм...»

Здесь, где прячется Сет Аларм,
придавая пикантный шарм
беспорядку больных вещей,
наподобье святых мощей,
обнажив голубой матрац,
самой страшною из зараз
спит поэзия детским сном,
принакрывшись дневным рядном.

Так прекрасны ее черты,
что соперничать только ты
можешь с нею и то, пока
не сощурились облака.
Но как только ночная мгла
доползет до ее угла,
все, чем равен червяк богам,
я бросаю к ее ногам

потому, что в худом тряпье,
луговин и канав репье,
она тем пред тобой берет,
что в Бутырки за мной пойдет,
что в последний прощальный час
не опустит печальных глаз,
и у той гробовой доски
не отпустит моей руки.

И пока мой бумажный хлам
не присвоил российский хам,
разделяя мои пути,
о, возлюбленная, прости
протоплазмой, душой, корой,
что для Музы ночной порой,
соблазнившись ее венком,
я краду у тебя тайком.

«На выставки, в кино, на бл. ки...»

На выставки, в кино, на бл. ки
спешит толпа: вик-энд и без оглядки
домой лишь я бегу, посторонясь.
Как прежде зол, но больше опечален,
все думая: как Чацкого Молчалин
так вразумил психушкой, что связь
двух наших судеб стала символична?
Мне страшно, что привычка жить опрично
во мне укоренится. Мой мирок,
хотя и не мещанский, узок:
помятый чайник, словари да Муза,
которых навещает ветерок,
снежинки выдувающий из флейты
на темный путь моей узкоколейки,
в конвое рифм тоскующей, пока
я, сделав вид, что позабыл столицу,
пишу тайком письмо, через границу
семейству Чацких в форме дневника
переправляя с грустью. Раздвоенье
вращает шатуны. А настроенье
усугубляет долгая зима
над местом, где отвергнутый Россией
еще один больной «шизофренией»
приобретает «Горе от ума».

«Когда дятел стучит...»

Когда дятел стучит,
в лесу каждый молчит.
И всякий улепетнет,
едва околыш мелькнет.
Никто не знает, что ест,
а держит в страхе весь лес.
Стукнет разок в глуши —
и сухари суши.

«Когда менты глядят из всех углов...»

Когда менты глядят из всех углов,
и невозможно доверять помойке,
и развожу костер из лишних слов,
оставшихся, как мусор после стройки.

Я часто занят этим колдовством,
которое не нравится корзине,
что любит заниматься воровством,
как бы нештатно состоя в дружине.

Ведь рифма так порою заведет,
что не найдешь обратную дорогу.
Мы презираем мусоропровод,
а он на нас доносит понемногу.

И в час, когда шмоляет дробовик,
мне из-за туч прицеливаясь в ухо,
как вкусный борщ, пылает черновик —
да зря его вынюхивает сука.

«Как на заре тупа...»

Как на заре тупа
возле метро толпа.
Как она прет в загон,
как она чтит закон:
«Без содроганья бей
всех, кто тебя слабей».

Падают в турникет
столбиками монет
стершиеся ключи
с признаками мочи.
Проще открыть засов
кончиками носов.

Иже на небесех,
кто мне дарует всех!
Знаешь ли Ты о том,
как почернел мой дом,
как по ночам тоска
смотрит в зрачок глазка?

Или в течение дня
видишь ли Ты меня,
как я бегу во мгле
по сволочной земле,
падая и смеясь,
ненавистью давясь.

«Вчера проводил я последнюю птицу...»

Вчера проводил я последнюю птицу.
И как только стало ее не видеть,
то боль перешла незаметно границу,
когда еще можно терпеть и молчать.

И, как в сурдокамере, вдруг прозвучало,
шагая с трудом через падаль и страх,
той горькой, нечаянной славы начало,
что жгут по ночам в казематных печах.

И я, обратясь непосредственно к Богу,
просил его дать мне отваги идти,
и самую жуткую выбрать дорогу,
когда еще можно ее обойти.

И так как у нас, безусловно, не ново,
когда вырывают кому-то язык,
дать силы сказать мне последнее слово
клыками в багровый чекистский кадык.

«В парке, где липы, практикующие дзен...»

В парке, где липы, практикующие дзен,
лижут лиловые сумерки, как ежевичный джем,
я восстанавливаю перпендикуляр,
доказывающий, что Земля – не шар.

Ветви будто свисают с век,
льдисты и припорошены, и снег,
как пузырьки в шампанском, возносится к мостовой,
в частности, если смотришь вниз головой.

Это – единственная среда,
которая не выталкивает и, вреда
не причиняя за вытесненный объем,
окончательно становится моей в моем

городе, от которого убежать
тщетно, даже устав от «ать —
два» под стеной Кремля
возле святыни, похожей на два нуля.

Все объясняется принципами тоски:
стрелки курантов, тянущие носки,
гены брусчатки, лишённые хромосом,
розовый призрак веретена в косом

ветре на площади и мой добровольный скит,
где никого не злит, что Лубянка спит,
мне не мешая прикладывать транспортир
к темному небу, в котором горит пунктир

ярких снежинок, чей праздничный вид мою
жизнь концентрирует в точку, где я стою
на бесконечной плоскости серого вещества,
где совершается таинство Нового Рождества.

«Здесь, где гуртом свиней...»

Здесь, где гуртом свиней
бежит вереница дней,
и через каждый звук
слышится: хрюк да хрюк,

пульсом моей руки
бьется жилка строки,
превращая кошмар
в контрабандный товар.

«Что стоит листок...»

Что стоит листок
с кардиограммой строк,
если «врач»,
понимавший плач,
преодолев иврит,
проклял тупой гибрид,
выведенный без затей
из идей и му. ей.

И как быть с тобой,
всасываемым толпой
рта ее поперек,
раз уж ты уберег
сердце, чей век изжит
в мире, где жизнь бежит,
позабыв о богах,
на четырех ногах.

«Я сходил с ума в неприметный час...»

Я сходил с ума в неприметный час,
узнавая об этом по цвету глаз,
осаженных тоскою со всех сторон,
наблюдавшей, как в них едят ворон,
запивая снежком пополам с золой
да поблескивая оловом и смолой.

Но ни в страхе смерти, ни в жажде благ
я не мог выкинуть белый флаг,
как не мог победить и сошел с ума
потому, что, во-первых, – была зима,
а иных причин мне хватало для
веры, что стойкость – моя земля.

Но едва я высвободился из пут,
как почувствовал, что теперь идут
искушенья монетой, любовью глин,
номера и стеклышками машин,
чтоб безумьем безумного ткнуть за пыть —
и тогда мне назло захотелось жить.

И поскольку не мог я пробиться в лоб,
то я начал рыть из себя подкоп,
и когда обратно пошли часы,
а у гончих вытянулись носы,
и, спеша, прокурор подписал арест,
мой хорей, обернувшись, глядел на Брест.

«Я ненавижу свой дом за плевков, окурков...»

Я ненавижу свой дом за плевков, окурков,
мусора таинство, электролиз придурков,
осемененных мною на радость дурам
словом, флуоресцирующим меж КГБ и МУРом.

Я ненавижу свой дом за аморфный, мнимый,
декоративный облик моей любимой,
доводящий до бешенства равновесьем
между панельной грязью и поднебесьем.

Зло просыпаясь на крик альбиносов ночи,
я замечаю, что и на меня по-волчьи
смотрит нора, похожая на «прасковью»,
заблеванную бирюзы тоскою.

Я – это вид из рода персон нон-грата,
ждущих посыльных от капитана «Гранта» —
ведомства, чей монолит, как причал, откуда
отправляются корабли от худа

к худшему, где я окончу годы,
как не смирившийся, злой волонтер свободы,
награжденный, словно колодкой, строчкой,
хлынувшей горлом, как мутной водой из сточной

клоаки, где гошпиталь и кредо
невообразимой любви и бреда,
соединившись, образовали грыжу
абсолютно прекрасного: ненавижу.

«Четыре, пока не пустых, стены...»

Четыре, пока не пустых, стены —
мой дом, где вещи обречены,
и сквозь подрамник окна кривит
прозрачный песчаник вид,
по лужам скачущего верхом,
пространства, увенчанного колпаком,
как более свойственный интерьер,
чем замерший у портьер.

Здесь не обмануться в вещи чутье,
и ясновидящих, в канотье
на радужных головах,
в белых воротниках,
фонарей, и трепангов осин,
и бедность, что пахнет, как керосин
в хозяйственной лавке из всех углов,
не спрятать за спины слов.

Так что я не главней, чем ключ
в доме, где пробует лунный луч
звонкое, как камертон,
жало осинное о бетон,
и знают шкаф и стол, и кровать,
что я был бы тоже не прочь узнать,
а именно: как и в каком году
я из него уйду.

Мне кажется, я ненадолго сдан,
как в камеру хранения чемодан,
не знающий планов владельца, и
в ячейке вынашивающий свои,
выдавливая тюбик из пасты носком
ботинка, придавленного пиджаком,
пока наперегонки бегут
к финишу бегуны секунд.

Их скорость смазывает пейзаж,
и мысли стискивает метраж
квартиры с привкусом казино,
в замках, как линия Мажино,
где на одной из игральных карт
зеркало на гвозде, как карп,
разевает рот, чтоб вдохнуть глоток
воздуха, скрученного в моток.

А я, выхаркивая из плевр
очередной «шедевр»,
с ненавистью зека,
покуда сопит чека,
покуда храпит райком,
как дворник, скребу скребком
пера за верстой версту
исповеди моей Христу.

И самым тишайшим из голосов
прошу его уберечь от псов
клевер макушки и тех синиц,
что вспархивали по утрам с ресниц,
ронявшей во сне на подушку нимб,
маленькой королевы нимф,
любившей от всех тайком
приговоренный дом.

«Мой милый друг, мы живем с тобой...»

Мой милый друг, мы живем с тобой,
где черная рожа лучше любой
визитной карточки... Где «ме» и «му»
подводят русский язык к тому,
чтоб, избавляясь от лишних фраз,
имел бы в виду, заодно, и нас.

Знать, от того и летят на юг
строчки, растущие как бамбук,
пока вылавливают из стояков
обрывки наших черновиков
те, кого уполномочил сброд
впихивать жвачку в упрямый рот.

И не случайно в родном краю
мечтатели, что отмыть свинью
мечтали, привив ей хороший тон,
сгнили, украсив собою фон
хлева, где у корыта – бой,
И не хватает лишь нас с тобой.

Так что осталось исполнить долг,
пересказав, что подскажет Бог,
волками из лесу глядя на
свору, что солнцем освещена,
переправляя свои эссе
в годы по столбикам на шоссе...

«Опять метро и в толпе черно...»

Опять метро и в толпе черно,
и шепот злой ядовитых глаз.
И можно их мыслей не видеть, но
куда деваться от тех, что в нас?

Здесь ездят все, чей удел – ярмо.
И я давно ко всему привык,
где каждый за то, что он сам дерьмо,
другому готов перегрызть кадык.

И пусть машиниста терзает хмель
и сложный выбор из пары пуль:
пос. ть ли ему вверх ногами в дверь,
или дать дома жене «пиз. ль»,

Но поезд едит вперед-назад,
и мы, как скоты, продолжаем плыть
в яме, где только за детский взгляд
можно вообще не мечтать убить.

«Над стезей о б ожженной...»

Над стезей о б ожженной
увядают клубы.
Вот и я – прокаженный
и избранник судьбы.

Вот и я засветился
и спустился с высот.
И ко мне подкатился
и захрюкал «сексот».

И заньло в порочных
интегралах систем,
в джинсах труб водосточных
и распятыях антенн,

где вращается лопасть,
поджидая мой шаг,
и выходишь – как в пропасть,
в притаившийся мрак.

Не прощайся – пролетка
подождет у крыльца.
Не шарманка – лебедка
доведеет до конца.

Поцелует Иуда
и по схеме – вчеред
на Голгофу за чудо
продвиженья вперед.

«Не печалься за брата...»

Не печалься за брата,
что не так повезло,
все на свете – расплата
за добро и за зло,

все приходят к смирению
и согласью с бедой,
утешаясь сиренью
канавой с водой.

Но и каждое утро
на земле неспроста
проступает, как смутный
подмалевок с холста,

И не сдуру, в пороках
убивающих плоть,
обреченных пророков
выбирает Господь.

Пусть же снова негромко
на линиях бюро,
как шуршит камнеломка,
в доме скрипнет перо,

и от боли до боли
утешеньем строки,
будто весточки с воли,
в нем забьются стихи.

«Ночью на перекрестке...»

Ночью на перекрестке
мертвая тишина,
будто бы в продрозверстки
чудные времена.

Изредка только боем
Павел Буре прервет,
что меня скоро «Боинг»
с нежностью унесет

в край, где ходить не надо,
хвост между ног держа,
где не затопчет стадо,
хрюкая и визжа,

вырвет из дней позора,
шмона нахальных глаз.
Жрущие без разбора,
Я оставляю вас!

Ешьте мой дом безликий,
землю моих могил,
мраморные гвоздики —
что я еще любил?

Море, леса глухие,
пасмурную зиму...
я заберу Россию —
вам она ни к чему.

«Ну вот, я и перебрался с московской сцены...»

Ну вот, я и перебрался с московской сцены
на новую, и пора начинать премьеры,
а я все гуляю – целую и глажу стены,
и счастлив тем, что не ведаю чувства меры.

Ты знаешь, теперь неприлично бывать на Невском:
он стал похож на прямую кишку, и, кстати,
давно там некому фланировать и не с кем —
везде толкутся дельцы, дураки и б...и.

Здесь все, как будто рехнулись, вконец рехнулись.
А, впрочем, скопление масс в одном месте – диво.
О, сколько тогда остается безлюдных улиц,
где снег кружится и падает так красиво.

Я с неких пор никакого не чту Бродвея
с его пустозвонством и культом плеча и паха,
и мы здесь с Санкт-Петербургом, как два еврея,
что жмутся в тень от врожденного чувства страха.

Люблю я Питер! Здесь воздух приносит море,
и небо ближе, и дым пирожковых гуще,
и можно жить, пока виги дерутся с тори,
а в Смольном бродит по залам последний дуче.

Ликует демос – навалом духовной пищи.
Искусства нынче доступней хурмы на рынке,
лишь та, которая спорила с Беатриче,
теперь бессильнее и призрачнее Сиринги.

Для Музы нет тошнотворней, чем глас народа.
Как часто все подарка не замечаешь:
гуляй, Батяйкин, пока победит Свобода,
а то разбредется стадо – не погуляешь.

Аншлагов ждать поздновато, и знак вопроса
«быть или не быть» проморгали твои подмости.
Но ночи и впрямь светлее, хотя и доза
снотворного та же и выпита по-московски.

«О, море, что наполнено тоской!..»

О, море, что наполнено тоской!
Ни нежных писем, ни звонков в передней:
шуршание в квартире, как в пустой
ракушке. Но, в отличие от последней,

в ней обитатель есть. И вольный дух,
не по своей сюда попавший воле,
не хочет жить, как потерявший слух,
и бесноваться, и учиться в школе

покорности. Увы, здесь вьется нить
Арахны, что сама с собой скандаля,
обречена бессрочно колотить
по клавишам железного рояля.

Есть в мире дом. У дома нет друзей.
Им не до альтруизма посещений.
Он может ждать забывчивых гостей
до смерти. До посмертных посвящений.

Ни Митридат, по капле пьющий яд,
ни переживший глухоту Иосиф,
что свой теперь возделывает сад,
не ободрят, открытку в ящик бросив.

Козлиный рай по-своему воспет.
С морским песком их разделяет бездна.
Киприд волнует завтрашний обед.
А красота скучна и бесполезна.

Пусть перламутр пылится на земле
и никого не зачарует звуком
морских сирен. Здесь некому во мгле
к поющей створке прикоснуться ухом.

«Веселый луч скользнул по волосам...»

Веселый луч скользнул по волосам
и возвестил, что наступило утро.
Еще себя не вспомнив, небесам
я улыбнулся, радуясь тому, кто

его послал. Безумное жилье
исполнилось сиянием и верой,
как будто здесь и не было ее —
несбывшейся моей мечты. Из серой

неласковой компании душа
рванулась в вечный свет невероятный,
из слез и прозябания спеша,
хоть жизнь еще корячилась, в обратный

непозабывтый путь. И для лица,
которому грозила одичалость,
снискала откровение Творца,
что сердце наконец-то достучалось

в его врата. Теперь я не один,
хоть вечер наступил и солнце село,
и облака плывут потоком льдин.
Желание отделаться от тела

и оказаться только бы не здесь,
увы, несвоевременно. На годы
еще моя рассчитана «болезнь»,
покуда я достигну той свободы,

когда (смогу ль себя переменить?)
я окажусь в неведомом, где наша
жизнь не важней, чем воробьиный «фьюить»,
и не довлеют ни вода, ни чаша.

«Тигрица с крыльями, любительница сладкой...»

Тигрица с крыльями, любительница сладкой
богемной жизни, мы с тобой опять
вдвоем. На кухне ночь. Украдкой
мы встретились. Не спать

приятно, а вознаграждение
не обойдет лунатиков, и вот:
мне общество – тебе варенье
досталось. «Пчеловод»

давно б нас придавил. Но соглядатай
тебя не замечает. Стало быть,
еще не обобщил. Внучатый
племянник Феликса, умерив прыть,

уходит восвояси. Видишь,
хотя они следят за мной, пока
для них общение наше, как на идиш
спектакль. Чека

не признает богинь. Крылатых
волнует преимущественно, как
бы не утонуть в амброзии. Была ты
уже однажды в банке. Шаг

трудно предсказуемый. Не вынув
тебя оттуда, я до сей поры
бумажные мячи в корзину
швырял бы в одиночестве. Пиры

ночные не закатывал. Над слогом
не засыпал, не охмурил твой слух
признаньями в любви и смогом
немыслимого мата. В двух

ведомствах, как кандидат на нары,
не числился, не привыкал пасти
на склонах облаков отары
обратных словарей. Прости,

что я тебя привадил. Грустно,
когда судьба приобретает вкус
болезненного ожидания хруста
и прибавленья экспоната в кунст —

камере забвенья. Признан,
как очевидно, небесами наш
не значащийся в мире Принстон
межвидовых художеств. Я ж

вынужден терпеть упрямо
химер полуголодных – бред
следствий своего же само —
убийства строчкой; в пред —

двери метаморфозы, Слово
упрашивать который раз
позволить мне с тобою снова
увидеться тайком от глаз

его же; целовать ступени,
за коими мерцает стиль
заумного письма на фене
магистров языка. Как Тиль,

прикармливать ищеек, чтобы
до времени не положить предел
аналогу единства злобы
и нежности. Таков удел

поэта в позитивном мире,
который раздражает тон
юродивой игры на лире
как чуждом инструменте – он,

впрочем, как соблазн для Граций,
присутствие которых там,
где в сумерках от интонаций
свихнуться не проблема – шарм

высшего порядка. Вот и
ты также залетела вдруг
от осени и скуки, в соты
закрученного дома, в круг

творчества и боли, маний,
где плоти отмиранье – стих
является из оправданий
прекраснейшим. И для двоих.

«Синица в коричневом платье и фартук...»

Синица в коричневом платье и фартук
налипший,
и голос училки, читающей про государство Урарту,
Аргишти —

Все это так скучно – какие-то бзики...
И неинтереснее вьюги
деревья, поднявшие ветки, как в зиг хайль,
на юге.

Ты бредишь, глазами усевшись
в развалинах сада,
махровой сиренью снежинок в руке, покрасневшей,
как гроздь винограда.

А голос гудит, точно муха на белом плафоне
(еще бы),
скрипя, как пружина в тупом патефоне
учебы.

А рядом рябины скрывают приманку,
белея,
как будто их вывернули наизнанку,
украшив аллею,

где я, как урок, не включенный в программу,
сучаю,
тебе объясняю
и сам за тебя отвечаю...

«По бесконечному коридору...»

По бесконечному коридору
ночей и дней
я, как истоптанный снег, который
всех клятв верней,

должен сносить за шаги любимой
шаги скотов
черной душой, неисповедимой
с седьмых потов.

И, возвращаясь, просить у Бога,
что дал им жить,
самоубийства всего живого
не довершить,

должен будить в его сердце милость
нетопырям,
чтобы под утро обратно выпасть
к ее дверям.

«Опять природа замирает...»

Опять природа замирает,
как в сердце, где который год
кровь польская перебивает,
как желтая листва и рот,
что лишь вчера был волен
Вас целовать, забит
стихом, что безнадежно болен.

А дождик моросит.
И я брожу, боясь поставить точку
в стихотворении, которое о Вас...
до простоты вываживая строчку,
спускаясь, словно сумерки в «танцкласс»,
где, кто танцор, а кто тапер – не видно,
где кронам лип так свойственен интим,
а изморось – как анальгин от быдла.

Лишь изредка какой-нибудь кретин
проедет мимо, потревожив змейку
и высветив зрачками «жигулей»
забор, деревья, мокрую скамейку
и некое подобье Пропилей,
где я гуляю с Музой и нимфой,
не замечая колченогий взгляд,
накоротке захлебываясь рифмой,
как поцелуем Вашим невпопад.

«В вагоне я еще принадлежал...»

В вагоне я еще принадлежал
тебе. Но, выйдя на вокзале,
я стал похож на глупого чижа,
вернувшегося в клетку. Ожидали

меня в столице. Лишь на кольцевой,
проехав круг, со мной расстался филер,
ущербной гениальностью кривой
не обладавший. В пролетарском стиле

воздушный поцелуй мне слал шмонарь,
по службе наносить на обувь ваку
обязанный. Приветливый почтарь,
прошедший школу КГБ по классу

перлюстраций, волновался за
профессионализм. Любитель чуши —
слухач терзал мой телефон, глаза
мечтая обменять еще на уши.

Мой новый грех, как будто бы, к другим
моим грехам в столе из палисандра
не ревновал. Но, переняв шаги
документальной прозы Александра

Исаевича, умных и лохов
уверив, что и он – агент Антанты,
то рвал стихи, то рвался из стихов
так яростно к возлюбленной, что Данте,

простив ему отвергнутый канон
и находя в антисоветском киче
преемственность, и тот жалел, что он
не мог себе такую Беатриче

позволить. Потому, что плоть и кровь
двоих и, унижаясь до порока,
способны на высокую любовь
на фоне стен тюремного барокко.

«Ты не пишешь ко мне: неужто...»

Ты не пишешь ко мне: неужто
ты забыла меня, подружка,
и не важно тебе, как грустно
рифмам от приверед «Прокруста»,
что зовется размер. И в коих
смысл жизни для нас обоих.
Или нет у тебя привета
для отчаянного поэта,
что сидит в КПЗ квартиры
за любовь подцензурной лиры,
на ладонь опершись рукою,
будто в мире их только двое:
тишины полутьма немая,
да улыбка его кривая.

«Милая, здравствуй. Мне жаль, мне очень...»

Милая, здравствуй. Мне жаль, мне очень
жаль, что в душе и в природе осень,
что, если их поменять местами,
будет почти незаметно в гаме
птиц, улетающих от печали
по бирюзе, что была вначале.

В частности, мне бесконечно грустно,
так, что об этом не скажешь устно,
только письмом, на манер Сальери,
втягиваясь в ремесло, на деле
мучаясь и умирая – дико
на расстоянии меньше крика.

Так что пишу, хоть не жду ответа.
В сущности, мне все равно, что эта
жизнь, беспредметная, как порнушка
в стиле Боккаччо, прошла, и кружка
в стихотвореньи А. С. не важно
также: нашлась или нет, – не яшма.

В общем, прими уверенья в лучшей,
чем существует, любви, на случай
коллегиальных сомнений через
день, что проводит меня под шелест
юных шелковиц, теряя вечер,
в небо, куда мне укажет ветер.

«Снова рассвет, как пьезо...»

Снова рассвет, как пьезо
кристалл ин хендз,
снова мы не тугезе,
хотя и френдз.

Но впереди десембе,
вич дроз забав,
нам нужно лишь ремембе
о нашей лав.

Дай же, Господь, сей бизнес
частливый вей,
будет у нас и кристмас,
и холидей.

Спустятся к нам в нью-иа
любовь и пис.
В общем, я шлю от хиа
Вам эакисс.

«В невеселый день от Страстной недели...»

В невеселый день от Страстной недели,
что весьма обыденно для поэта,
я вернулся в Питер, где не хотели
даже видеть меня. Несмотря на это,

я вернулся пряничным Панталоне
подыхать от любви, умолять о встрече,
ползать перед Викторией, бить поклоны,
продавать свой плач, извращаться в речи.

И когда мы с милой все же пришли на Невский,
мне в толпе померещился изуверский,
никаким не мыслимый шариатом,
выбор между кастратом и Геростратом.

Я подругу мою проводил до двери.
Машинально пересчитал ступени.
Было парадоксально служить Венере,
не целуя при этом ее колени.

«Странный сегодня вечер: мертвая тишина...»

Странный сегодня вечер: мертвая тишина,
и одинокий призрак замершего по стойке
«смирно» у остановки ниггера. Что луна
свалится – вне сомненья. Жалко дворцы, постройки

прошлых столетий. Может быть, их и нет:
этих храмин печальных, кажущихся на сизом
небе, чей свод усыпан звездами. Только свет
льется еще из прошлого с позолоченных клизм.

Верить или не верить грустным глазам? Иной
мир проступает через облака и бреши
в стенах театров. Опять же, ко всем спиной —
и не такое привидится: не у пеше —

ходного перекрестка, так на мосту: из вод,
к набережной швартуясь, жадно всплывают зданья
с профилями ундин на портиках – точно флот,
ждущий три века часа выпалить: «До свиданья».

Все-таки я счастливей: раньше отправясь вплавь
брассом по тучам, я и укроюсь в отчем
доме, пожалуй, раньше. И чтобы эта явь
там мне уже не снилась ни на минуту. В общем,

парадоксальность пагубна. Лишь суетным словам
время от времени бесполезны вздрючки,
вроде теперешней. Стих – это больше фавн,
чаще тоскующий по охладевшей с. чке.

Впрочем, любовь невинна. И изо всех химер
вряд ли любая чем-нибудь лучше данной
нам в ощущениях вечности. Например,
нежность Христа к убийцам. Чем не залог спонтанной

смерти во чье-то имя? Пусть это та же бл. дь.
Главное в этой жизни – не пожалеть пророчеств.
Да и подохнуть лучше, чем без конца справлять,
окаменев от боли, праздники одиночеств.

«Куда ты, Батяйкин, попал?...»

В. Кривулину

Куда ты, Батяйкин, попал?
На тесную кухню, где ива,
склоненная,
чай разливает по чашечкам,
Шива
блеснет невзначай остротой —
карнавал
для посуды,
и пусть ни чердак, ни подвал,
а просто, едва ли
где проще:
здесь в чашку тайком не нас. т,
не выгонят, не донесут,
не припоминают детали.

Тем горше влачиться в свою
ночлежку, где лишь лилипуты
часов водяных засекут
приход «Гулливера»:
к кому ты —
для скучных секунд
не важно – в семью,
или в мертвую зыбь за семью
печатями. Дуешь и дуешь
на свечку —
губа до десны сожжена.
Но вспомнишь,
что можешь махнуть из окна,
и как-нибудь переночуешь.

«Я, кажется, действительно, сдаю...»

Я, кажется, действительно, сдаю,
хотя не часто в этом признаюсь.
Я по утрам себя не узнаю,
и отраженья в зеркале боюсь.

Я завтрашнего дня так долго ждал,
что не заметил, как прошли года,
и я устал, как устает металл,
как устают и камень, и вода,

не взятые природой на учет:
тот, что лежит, и та, что не течет.

«Здесь, где было нам так хорошо, – зима...»

Здесь, где было нам так хорошо, – зима.
Море забытые вещи выбрасывает на пляж.
Тихо. В пейзаж не просачивается чума:
холодно, да и немного народу. Наш

холм, на котором мы отдыхали, на месте. Вид
дальних вершин не изменился. Снег,
нежно подчеркивая голубизну, горит.
Божье око в небе парит. Из всех

мест на земле мне осталась одна страна
горькой полыни и голых холмов, чей свет,
ежевечерне скатывающийся на
берег, не ненавидит вслед.

В этом краю за две тысячи с лишним верст
от сумасшедшего дома до гор, где живут мечты,
я тебя жду терпеливо, как верный пес
час возвращенья хозяйки. Ты

не огорчайся упрямством. До грустных глаз,
слившихся с тусклой тропой на краю земли,
вряд ли когда-нибудь сможет прийти «...у нас
все уже было». Тем более, здесь, вдали,

звезды сверкают не так, как в окне. Луна
будит меня, если я притворюсь, что сплю
в скалах у берега. Будто я ей волна,
непревзойденная повторять: «Люблю».

«Учитель! Я дорос до Ваших слов...»

И. Бродскому

Учитель! Я дорос до Ваших слов.
И пусть я не был сызмальства ревнивцем,
я в срамоте моих пустых углов
себя сегодня чувствую счастливецем.

Я помню давний благовест тепла:
на Невском март играет образами,
часы звонят – одну шестую зла
мы, расставаясь, наспех делим с Вами.

Сейчас у нас зимы апофеоз:
закрыли небо жалюзиями тучи,
как Самиздат, кусается мороз,
и рвет сосуды диссидентство ртути.

И там, где обрывается стежок
трамвая, что сошел когда-то с круга,
кружит инакомыслящий снежок
приветом от ученика и друга.

Ода грусти

Вечные – очередные сборы:
миг, когда в спешке заносишь споры
грусти на новое место. Вещи?
Вряд ли. Их хватит на то, чтоб лечь и
чай вскипятить – никакой помехи.
Все это проще купить, хоть в Мекке
возле холма... А с романом Кафки
можно прийти и к вагонной лавке.

Впрочем, похоже, он нас застучал:
самый укромный и темный угол
в городе первым узнал о нервной
выходке, что, как полет консервной
крышки над мертвым ансамблем зданий,
входит все чаще в обряд скитаний
ополоумевших ног по лишним
улицам, видимым лишь Всевышним.

Я не пойму, что ему нужнее:
если бы мир был к себе нежнее,
я бы не исчезал в туманах,
производя на бегу в карманах
переполохи, и те же ночи
на полустанках, как волку волчьи
ягоды, мне бы не снились, ибо —
не доскитаться до стен Магриба.

Также терзает простое сходство
тонкой поэзии и сиротства,
светлой фантастики и потери.
Так, что, когда подступаешь к двери,
перед порогом невольно медлишь,
видя в нем некий забытый фетиш,
нервно считая во мгле ступени
в обществе собственной грустной тени.

В общем, увы, дорогой мечтатель:
жизнь – арифметика, знаменатель —
быдло, а ты, по всему, числитель, —
так что тебя еще ждет обитель
в небе, где ты, как птенец под мягким
теплым и нежным крылом, двояким
вдруг осознаешь свой грустный жребий.
Шелест страниц, словно крыльев в небе, —
это твой пропуск, двойник твой, это

неистребимая суть поэта.

Часть II

«Здесь, где волны, омывающие дурдом...»

Здесь, где волны, омывающие дурдом,
разбиваются с воплями о кордон
параллелепипедов и кубов,
наподобие соляных столбов,
стерегущих мою тоску,
я скучаю по голосу
девочки с голубым бантом,
что просвечивает сквозь содом
памяти, где процесс,
обратный гниению листьев, без
нее невозможен, где на ветру
колышатся лишь объявления, что я умру.

И мне хочется, покуда я жив еще,
улететь, как с веревки белье,
куда угодно, лишь бы сломать механизм
того, что называется коммунизм.
Милая, не осуждай меня,
всматриваясь в лепесток огня —
веко свечи, поставленное торчком
Богом, приказывающим молчком
убираться, – не отвергай его:
здесь проще смерти не высидишь ничего,
но пока он готов разорвать зажим,
дай мне твою ладошку и побежим.

«Здравствуй, Эвтерпа. Прости, что пишу со скуки...»

Ю. Морщ

Здравствуй, Эвтерпа. Прости, что пишу со скуки.
Все надоело. Особенно злые хари.
Так бы и выпалил в каждую из базуки.
Только напрасно. Опять разведутся – твари.

Что-то не так в этом мире, седом и глупом.
А балаболили в детстве, что он хороший.
Тошно смотреть, как он вечно идет по трупам,
Да и на книги давно не хватает грошей.

Не на что к празднику справить подарок Еве:
Сброд пучеглазый не хочет платить монету.
В этой стране не скоты только звезды в небе,
Но и они не способны помочь поэту.

Кто-то повыше заткнул облаками уши.
Некто в затылок мне дышит в безлюдном поле.
Будто вовек мне не скрыться от этой «руши»,
Где всем так нравится жрать на мои пистоли.

Скучное племя: ему что го. но, что слово.
Кажется, здесь мне уже не собрать сокровищ.
В общем, пока. Если сможешь, подкинь съестного.
И что-нибудь, отгоняющее чудовищ.

«Я пнул ногою камень, как итог...»

Я пнул ногою камень, как итог
проникновенья в разноцветный кабель
общения. Был март уже. И Бог,
весну мне дав в союзницы, на цапель
позволил поохотиться. Но бес,
вселившийся в паяльного «фольксдойче»,
на станции, признав мой интерес,
как факт, что я морально неустойчив,
или устойчив аморально, стал
в сеть подключать лимитчиков и вскоре,
как боцман, разошелся и свистал
их всех наверх. Встревоженное море
отхлынуло. Синичка не врала,
бахвалившись поджечь его с причала,
как видно, телефонного узла.
Мой «Роджер» возвратился на начало,
не одолев тупой антагонизм
российского упрямства, но, поскольку
во всем был виноват социализм,
к тому же не желавший неустойку
платить, я подцепил его строфой
заумной, но в траве стихотворенья
единственно уместной для такой
Классической Фигуры Преткновенья.

«Мне хотелось жить в доме на острове, чей фасад...»

Мне хотелось жить в доме на острове, чей фасад
не лишен интеллекта, что вообразимо в Санкт —
Петербурге, но в нищей стране судьба —
не Сезам, а душа – не Али-Баба.

Да и с кем бы мне было смотреться в его окно
на их светлости – звезды, раз здесь уже все равно
не увидеться с той, о которой мечтал, когда
башмачок еще не оставлял следа?

Жаль, что время прощаться с утопией сердца – злы
эфемерные сны, да и небо кричит «курлы»,
нежно плачет еврейская флейта сквозь свист и лай,
и каналы, дворцы и деревья таят «прощай».

В ожидании прощанья есть грустная прелесть – блеск
заходящего солнца, едва уловимый плеск
изумрудной воды о прогнивший настил мостков,
беспредельная нежность покрытых письмом листков.

Дай же мне наглядеться еще на тебя. Позволь
надышаться тобой перед смертью. Верни мне роль
дурака, возомнившего, что он любим и свят,
безоглядно счастливого от головы до пят.

Даст Господь, все само разрешится у нас. К часам
прибегать не придется, поскольку я стану сам
тенью древнего зданья, ночным ветерком с Невы.
Ибо проще расстаться с собой, чем с тобой. Увы.

«Замыкается время. Параша снова...»

Замыкается время. Параша снова опорожнена. Жди. Поелику слово получило за отпуск. И ты на горы погляди. И прислушайся к морю. Скоро будет осень здесь. Чайки оставят рыться в искореженной гальке. Переместится сброд, и ветер получит святое право дуть на воду. Пустые холмы, как слава, бесприютны, безлюдны. Но, если особь исхитряется выбрать в колоде способ выживания в мире посредством бегства, ей холмы не помеха. Скорее, детство, да молчунья-любовь ей терзают совесть потому, что о них не напишешь – повесть эта лишь для себя. Но зато к другому, пятясь вслед за мычащей скотиной, дому, смотришь в сторону неба. Да даром голи, как на камне, на теле крупинки соли да тепло в сердцевине еще не против оставаться с тобою, хоть ты юродив и уродлив, как карла китайский. В целом, жизнь – дерьмо вперемежку. Ни ангел в белом и ни в черном демон твою надежду, что кого ты любил, тебя встретит между изумительным раем и смрадным адом, не утешил пока. Не приносят на дом приглашений явиться в палату лордов. Впрочем, хватит с тебя и глухих фиордов.

«Забегая назад, вижу осень в ордынском раю...»

Евгению Рейну

Забегая назад, вижу осень в ордынском раю.
Теплый дождь. Хорошо и безлюдно. Стою
у Скорбященской церкви. От гадин

отрянувшись, гляжу, как сверкают сады.
Вечер светится в каплях небесной воды,
как внутри виноградин.

Грустный фатум. Наивный природный обман.
Верно, парки напутали что-то. Туман
спряли к новому утру. Им, выдрам,

лишь бы судьбы тряслись на третейских весах.
Что касательно выбора звезд в небесах —
я свою уже выбрал.

Никому во Вселенной она не посмеет гореть,
потому что моя. И ее ни узреть,
ни назвать мудрецам. По листочку

я сжигаю во имя ее все прожитые дни.
При церковных свечах и в бесовской тени
я стремлюсь в свою точку.

Будь покоен, Господь: для бессмертных стихов
хватит пищи – всех смертных грехов
дурака и мясца кровавого.

Все одно – на Ордынке ль прощаться с землей,
или в белую ночь захлестнуться петлей
на углу Дровяного.

«Поймаю шарабан – и в тину...»

Поймаю шарабан – и в тину
старинных переулков. Дальше
пойду к тебе пешком, за спину
запрятав торт с шампанским. Шваль же

останется за смутной гранью,
которая, скользя за мною,
безумную толпу пиранью
к Арбату ототрет. Закрою

глаза перед парадным входом,
и время на шпагат в пространстве
растянется. Повеет йодом,
и дверь, засеменя, как в трансе,

пропустит нас в былые чувства,
где, словно заблудившись в Лете,
мы будем удивляться грустно,
что все еще живем на свете.

«Послушай меня, мой Боже...»

Послушай меня, мой Боже,
про то, как у грязных дэзов
целуют в глаза прохожих
агаты древесных срезов,

как Муза в волшебной маске
среди итээров постных
отчаянно хочет ласки,
как девочка среди взрослых.

И утро сменяя новым,
под плач водосточных трактов,
внемли хоть кивком, хоть словом,
как в доме моем абстрактном

цветет, с каждым днем светлея,
лесной светлячок, свеча ли:
Поэзия-орхидея
моей о тебе печали.

«Здесь, как в пристанище Билли Бонса...»

Здесь, как в пристанище Билли Бонса,
вечно темно. Только под вечер солнце
отрикошетит лучом на петли
ржавого сундука, что не так страшно, если
он давно пуст и хранит хлам, как в данном
случае. Впрочем, ведь, клад все равно «Бен Ганом»
был бы разыскан и отдан ублюдкам, ибо
не в недоноске дело. Скажи спасибо
вещей судьбе, что помудрее лоций.
Всякому сквайру десятка твоих эмоций —
выср...ся круто хватит с лихвою навек.
Так и тебе не вскарабкаться, милый, наверх.
Лучше гляди, как закат в сизой зыби тонет,
с кружкой эля встречая конец на склоне
лет, потому, что хоть все словесами вашей
пяди Вселенной, досадно-таки, что к высшей
мере не приговорил ты, кого хотелось,
не произнес все, что на языке вертелось.
Но ведь на то и роль, что тебе от Творца досталась:
не озлобляйся всеу и не возводи на старость
скучных напраслин – все призрачно в этом мире,
а не находишь места – сыграй сам себе на лире,
вспомни любимую, если была она, в час отчаянья.
Не сожалей, что уходишь в страну молчанья.

«Все явственней я старею, все меньше мне остается...»

Все явственней я старею, все меньше мне остается.
Мне жить, как живут другие, на свете не удастся:
и сердце ноет печальней, и воеет ветер прощальной
на лампу мою из мрака, как знающая собака.

Какое мне все чужое! Какие мне все чужие!
Мне будто и стены шепчут: пожитки свои сложи и
беги, пока есть минута, пока еще не решили,
пока они не добрались, пока тебя не убили.

Мгновенья бегут, недели. Прошло Рождество, Крещеньем
повеяло. Жизнь все медлит, как улица с освещеньем:
находит себе причины, вселяет в тебя сомненья,
а после тебе приносит ненужные извиненья.

Так стоит ли суетиться? Достойно ли волноваться?
Никто на земле не знает, бежать или оставаться,
и сколько под чужими дверями стоят с обедней,
кривою спиною слыша: ни первый ты, ни последний.

Я, право, не осуждаю, я тоже не правил строгих,
Я даже не утверждаю: еб...л я вас всех, двуногих...
Я просто, увы, старею. Как дерево, как картина.
И скоро мой шарм оценит прекрасная синьорина.

Послание Марии

А я живу не как надо. Печалюсь, горю неярко.
Не уважаю стадо. Плюю свысока на бедность.
Я удаляюсь в вечность, словно в аллею парка,
бегущую в неизвестность.

На улице отдыхают. Взрывают назло шутихи.
Что три часа ночи, православных не беспокоит.
Будь здесь океан, я бы срубил Кон-Тики.
Но здесь 30 ниже нуля, и воеет

вьюга. Заснуть уже не удастся.
Но сдохнуть можно в любое время.
Моя главная роль – подбирать за всеми.
В остальное время – ругаться.

Я тоже мечтал о счастье.
Держал в объятьях девочку с темными волосами.
Но этот мяч забил далеко Агасси.
Хотя я чего-то жду еще под часами.

«Я, как грустный дом, обречен на слом...»

Я, как грустный дом, обречен на слом.
С юных лет усмешка мой вид кривит.
Пообтершись между добром и злом,
я от них обоих теперь привит.

Мною рок всегда вертел, как хотел:
я мечтал убежать, но не убежал,
и желал улететь, и не улетел —
только всех перепровожал.

И поэтому я окопался здесь,
где печалится слякоть, и меркнет свет,
где, чем быдлу доказывать, что ты есть,
самому себе легче внушить, что нет.

«Я расстаюсь с этим миром. Сто...»

Я расстаюсь с этим миром. Сто
столетий пройдет, а он будет такой же.
И все начнут говорить: а что?
Кто сказал, что мир спасет красота,
не понял в ней ни черта.
Стой же,
Ноябрь. Когда-то я был влюблен.
Жаль, что тогда я не видел того, что ближе,
Ступая кроссовками «Саломон»
По петербургской жиге.
Теперь иная печаль:
до смерти расставаться жаль
с лучшим моим дружкой —
Ночным Снежком.

«Ах, как снега пушистого нынче много!..»

Ах, как снега пушистого нынче много!
Будто ваты на елке, и остального,
словно нет, и самому не видно,
как твоя очевидность неочевидна.

Хорошо убраться назло досадам
с февралем, с разошедшимся снегопадом,
позабыв, наконец, про свои невзгоды,
про печали, заботы, тревоги, годы.

Позабить навсегда о своих свиданьях,
о своих ожиданиях и опозданиях,
о своих любимых и нелюбимых —
о своих ошибках непоправимых.

Вообще – исчезнуть с последним снегом,
заодно с опустевшим своим ковчегом,
позабыв о тепле, о весне, о лете:
обо всем, обо всем, обо всем на свете.

«Никому не хочу я петь...»

Никому не хочу я петь.
Разорвав, наконец-то, сеть,
я плыву не туда, куда
все. Сверкает кругом «вода».

Этот мир сочинил урод.
Все здесь нужно наоборот
понимать. Но теперь я «пас» —
обойдется кретинский класс,
и стихи, что слагались в знак,
пусть летят кто куда, кто как...

Что добавить к сему? Ни здесь,
ни на небе еще не весь
спектр познания, что мне смешны
юбилеи и дурней сны.
А уж если и жалко кого – травы
да дегенератской молвы.

И иду я в густой толпе,
как в лесу по глухой тропе,
презираю сверканье звезд,
ненавидя бессилье слез,
лишь свое про себя шепча,
будто гаснущая свеча.

«С неких пор я все чаще...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.